

В а д и м  
**ШЕФНЕР**

---

Малое  
собрание  
сочинений

---



Санкт-Петербург

## СЕСТРА ПЕЧАЛИ

### 1. Беспринципный щипок

В этот день последние два часа посвящались военному делу. Я мог бы и пропускать их: у меня была отсрочка по призыву из-за легких. Правда, все давным-давно зарубцевалось, а все равно — отсрочка. Но на занятия эти я все-таки ходил, не ходить было как-то неловко: все ходят — а я рыжий, что ли? Вот и Костя ходит, а он чистый белобилетник.

Военный кабинет временно помещался в подвале техникума, в бомбоубежище, в одном из его отсеков. Мне там нравилось. Нравились побеленные своды потолка и шершавый бетонный пол, и эти столы с ножками крест-накрест, сколоченные из необструганных досок, и легкий запах земляной сырости, смолы и ружейного масла. Все здесь было не так, как в других аудиториях техникума, все здесь было просто и определено. По стенам висели учебные плакаты. На одних — винтовка Мосина и как ее разбирать; на других — изображения полевых орудий; на третьих — ходы сообщений, разрезы окопов полного профиля. Блиндажи на этих плакатах выглядели удивительно чистыми и аккуратными — в таких бы жить да жить. А на брустверах траншей росла ровная, будто подстриженная садовником, трава. И над пулеметным гнездом, открытым у гребня холма, склонялись густолиственные деревья. Казалось, война всегда происходит только летом и только в хорошую погоду.

И лишь на одном плакате шел дождь и небо было в рваных тучах, а деревья, видневшиеся вдаль, уже обронули листву. Плакат назывался «Час атаки». Некоторые красноармейцы еще вылезали из траншеи, а некоторые уже бежали вперед с винтовками наперевес. Они бежали к невзрачной высотке, где залег неприятель. Перед ними вставали черные столбы разрывов, но они все-таки бежали вперед. Были и убитые. Эти как-то стыдливо лежали

в сторонке и казались очень маленькими по сравнению с живыми. Наверно, художнику не слишком-то хотелось помещать их здесь, но что ж поделаешь — война есть война.

Глядя на этот плакат, я иногда пытался представить себе, что я — один из этих бегущих вперед красноармейцев. Что я буду чувствовать в этот миг? Очень ли мне будет страшно? По книгам я знал, что чувствует человек, идущий в атаку, но самого себя представить этим человеком очень трудно. Тогда я начинал размышлять о том, что ведь если будет война, то для каждого из нас, сидящих в этом подвале, настанет час атаки, — кроме девушек, конечно, и кроме чистых белобилетников. А так — для всех. Для успевающих и неуспевающих, для болтливых и молчаливых, для плохих и хороших — для всех может настать час атаки. Но когда это будет — никто не знает. Может быть, мы все состаримся, а никакой войны не случится. Кто полезет на нас? С Финляндией война только что кончилась, Англии и Франции не до нас, они ведут «странную войну» с Германией. А Германия воюет с Англией и Францией — ей тоже не до нас. Правда, в Германии Гитлер, фашизм, от Гитлера всего можно ждать. Но как-никак у нас договор о ненападении.

Хоть войны и не предвиделось, военным делом занимался я с охотой. Юрий Юрьевич, преподаватель военного дела, относился ко мне хорошо. Иногда он просил меня остаться на часок после его лекции, и я оставался и помогал ему наводить порядок в его хозяйстве.

Юрий Юрьевич мне нравился. Это был суховатый, подтянутый, сдержанный человек. Иногда у него случались припадки кашля, и тогда он вставал лицом к стене, упирался в стену руками и, весь дрожа, кашлял несколько минут. Потом продолжал лекцию. Кашель этот был из-за того, что во время мировой войны Юрий Юрьевич попал в газобаллонную атаку. От роты осталось пять рядовых и один прапорщик — вот он и был этим прапорщиком.

Юрий Юрьевич знал, что его предмет не главный. Он занимался с теми, которые сами хотели заниматься, а хорошие отметки ставил всем. Вся разница была только в том, что к охотно занимающимся он обращался на «ты», а к уклоняющимся от занятий — на «вы».

В этот день лекция была обязательна и для девушек — проходили противохимическую защиту. Девушки все время болтали и пересмеивались, на них не действовала некоторая таинственность

и подземная обособленность бомбоубежища. Особенно трещала Веранда Рязанцева, сестра Люсенды. Эти сестры были очень похожи одна на другую, хоть и не были близнецами. Одевались они одинаково, но характерами не походили друг на друга: Люсенда была аккуратистка, цирлих-манирлих, а Веранда — хохотушка и болтушка. Настоящее имя Люсенды было Людмила, Люся, но Костя прозвал ее Люсендой. Он утверждал, что это испанское имя, — и все подхватили. А Веру уже для симметрии кто-то окрестил Верандой, и вначале она злилась, а потом привыкла.

Противогазов хватило на всех, и по команде Юрия Юрьевича они были надеты. Группа двадцать минут молча сидела за необструганными столами на длинных скамейках, а Юрий Юрьевич громко и отчетливо, чтобы слышно было сквозь маски, толковал о хлоре, об иприте, примененном впервые на реке Ипр в Бельгии, о люизите — rose смерти и о других газах. Он говорил о том, что во время недавней финской кампании газы не применялись, но это была война локальная, местная. А в больших войнах следует ожидать от противника ОВ, и надо быть готовыми к противохимической защите.

Рты у всех были закрыты противогазами, и, когда он умолк, наступила такая тишина, будто газовая война уже прошла по всей земле и никого на ней не осталось. Но вскоре девушки начали хихикать под масками, и Юрий Юрьевич приказал всем снять противогазы, а мне велел собрать их и сложить в шкаф. Я первым делом подошел к тому столу, за которым сидели девушки. Некоторые из них, видно, замешкались, а может быть, им просто понравилось сидеть в этих резиновых намордниках. Они сидели на скамейке спиной ко мне и смеялись под масками.

— Ну, пошевеливайтесь, девчата! — сказал я. — Эй, Веранда, гони противогаз. — И с этими словами легонько ущипнул ее пониже спины, ведь это была девчонка свойская.

И вдруг Веранда сорвала с себя маску, резко обернулась ко мне — и оказалась не Верандой, а Люсендой.

— Хулиган! Хулиган! — выкрикнула она. — Он еще издевается! — и обиженно заплакала.

Все столпились вокруг нас. Подошел и Юрий Юрьевич.

— Что это такое! — строго сказал он. — Двухлетняя девочка плачет, как малютка! Не хватает мне сырости в этом подвале!

Но Люсенда все плакала и твердила: «Хулиган! Хулиган! И за что он меня ненавидит!»

Тогда выступил вперед Костя и произнес:

— Ничего Толька тебе не сделал, чего ты к человеку прицепилась!

А добрая Веранда стала утешать сестру:

— Люська, не реви! Он думал, что это я, а я его прощаю. Улыбнись, кулёма!

Все могло мирно уладиться, но тут в это дело встрял Витик Бормаковский, наш показательный общественник.

— Он совершил беспринципный щипок! — сказал Витик, указывая на меня. — Он сильно ущипнул Люсю в порядке мести и запугиванья. Это он проводит месть за то, что Люся вчера разоблачила его на политэкономии, когда он вместо слушанья лекции играл с Петровым в шахматы. Но не бойся, Люся! Наш спаянный коллектив защитит тебя от враждебных вылазок!

Некоторые зашикали на Витика, а некоторые скисли и отошли в сторонку. Витика даже и преподаватели некоторые побаивались. Хоть учился он так себе, но зато знал, кому что снится и откуда пахнет керосином. Он был членом редколлегии стенной газеты и часто сам писал в нее. Все его заметки начинались словами: «В то время как...»

Тут Юрий Юрьевич, чтобы замять инцидент, строго обратился ко мне на «вы»:

— Идите в соседнее помещенье и займитесь чисткой винтовок.

Он занял свое место и снова повел речь о газах, а я открыл тяжелую, обитую железом дверь и вошел в большой соседний отсек, где виднелись широкие, похожие на банные, скамьи, где стояли фанерные шкафчики с дырочками в дверцах и поблескивал большой бак для питьевой воды с прикованной к нему на цепочке алюминиевой кружкой. Бак этот покоился на двух швеллерных балках, торчащих из стены, и казалось, что он висит в воздухе. Я открыл один из шкафчиков, вынул винтовку, потом другую, потом третью. Винтовки эти были учебными, с черными прикладами, с просверленной казенной частью, для стрельбы непригодные. И все — чистые-пречистые, — я же сам их и чистил недавно. Тогда я открыл крайний шкафчик, куда Юрий Юрьевич иногда ставил свою собственную винтовку, — он вел стрелковый кружок на стадионе «Красный керамик» и в те дни, когда должен был идти туда после занятий в техникуме, приносил оружие в военный кабинет.

Винтовка стояла здесь. Она была с желтым прикладом и с серебряной дощечкой на нем — личное оружие. Я взял это личное

оружие, лег с ним на скамью и изготовился к стрельбе из положения лежа. Но так держать винтовку было неудобно — нужен был какой-то бугорок впереди. Тогда я встал, открыл дверь в соседний маленький отсек, зажег там свет и снял с гвоздя свой пальтукан на рыбьем меху. Юрий Юрьевич позволял нам приносить сюда верхнюю одежду, чтобы потом не толкаться в раздевалке, — после конца занятий туда устремлялись все группы, там начиналось столпотворение, и гардеробщица тетя Марго еле-еле справлялась с работой.

Я вернулся на скамью, сложил пальто вчетверо, лег животом на доски, примостил винтовку на пальто и стал наводить ее на цель. Мне видны были пальто, висящие на гвоздях в соседнем помещении. Вот потертая кожанка Малютки Второгодника, вот дурацкое Костино пальто из серого бумажного сукна, вот Володькина куртка из черного бобрика, вот рядом два одинаковых сереньких пальтеца — это Люсендино и Верандино... Я представил себе, что я снайпер, лежу в засаде, и стал целиться в гвоздь. Этот гвоздик не в соседнем помещении — он где-то очень далеко, да это во все и не гвоздик, это неприятель. Надо его укокать, а не то он укакает меня. Я клякнул затвором, дослал патрон, считая, что патрон воображаемый, и мягко нажал на спусковой крючок. И вдруг меня оглушило, толкнуло прикладом в плечо.

Первым вбежал в отсек Юрий Юрьевич.

— Черт знает что! — крикнул он. — Что это за дурацкие детские выходки! Кто вам позволил трогать мое оружие?

— Извините, это я по ошибке, — глупо ответил я. — Извините, Юрий Юрьевич!

— Ну ладно, поставьте ее на место.

Пока шел этот разговор, все ребята и девушки группы ввалились в отсек. Люсенда смотрела на меня испуганными глазами и не то смеялась, не то снова собиралась плакать. Я даже смутился — чего это она такая? А Костя подошел ко мне и негромко, но отчетливо произнес:

— Дураком родился, дураком живешь, дураком женился, дураком помрешь.

— Я еще не женился, — невпопад ответил я. — Такой выстрел с каждым может случиться.

— Люся! Это он в твое пальто стрелял! — послышался вдруг голос Витика, нашего показательного активиста. — Смотри, гвоздь искалечен, вешалка оборвана! Я поднял твое пальто с пола.

— Это я случайно, Люсенда, — сказал я. — Честное слово!

— Нет, это не случайность! — ораторским голосом начал Витик. — Это продуманная система мести за выявление антиобщественных действий! Он стрелял в Люсино пальто, и Люсе просто повезло, что пальто было не на ней! Но мужайся, Люся! Мы поднимем гневный голос советского студенчества против вражеских наскоков!

Тут я вдруг увидал, что Костя придвинулся к Витику и, кажется, хочет ударить его. Володька тоже, похоже, готов был начать драку. Я кинулся к Косте, чтобы успокоить его, — Костя и так на плохом счету, драться ему сейчас никак нельзя.

— Не связывайся с ним, Синявый! — крикнул я Косте и отпихнул его от Витика.

Но Витик, очевидно в порядке самозащиты, выбросил руку вперед, и она уперлась мне в подбородок. Тогда я, не соображая толком, что делаю, ткнул его ладонью в нос, — именно ткнул, а не ударил.

Витик отпрыгнул и схватился за нос. Из носа у него пошла кровь. Он уставился на меня, потом обратился ко всем окружающим, показывая на меня рукой:

— Вы свидетели! Вы свидетели! Избиение студкора! — и пулей вылетел из помещения. Но затем он вбежал обратно и, встав перед Юрием Юрьевичем, закричал: — И вы свидетель! — После этих слов он опять выбежал — покотился жаловаться начальству. Юрий Юрьевич посмотрел на часы и объявил:

— Перерыв. Прощу не опаздывать на следующий час.

Все ребята побежали наверх, в курилку. Мы тоже, всей троицей — Костя, Володька и я, — поспешили туда. В курилке, большой комнате перед мужской уборной, было уже шумно и тесно, дым стоял — хоть ведрами вычерпывай. Электровентилятор, вделанный во фрамугу, выл и скрежетал, с усилием скручивая этот дым и выпихивая его за окно.

— Ну, всыпались мы, — сказал Костя, закуривая «Ракету». — И надо было тебе эту паиньку щипать! Нашел объект! Вот и влипли.

— Это я влип, — высказался я. — Я влип, я и расхлебывать буду.

— Если тебя вышибут, я тоже из техникума уйду. Опять пойдем на завод работать, — сказал Костя.

— Я тогда тоже уйду, — заявил Володька. — Уж все втроем...

— Неужели это дело на вышибаловку тянет? — спросил я. — Ведь ерунда какая-то.

— В том-то и дело, что вышибить могут, — сказал Костя. — У тебя уже два выговора. И период сейчас такой. Недели не прошло, как Рыбакова за допущение случаев хулиганства в техникуме сняли — значит, новый директор будет на дисциплину жать.

— Ты, Чухна, поговори с Верандой, — посоветовал мне Володька. — Может, она на сестру повлияет, чтоб та на тебя не капала лишнего.

— Шкилет дело говорит, — подхватил эту идею Костя. — Поговори с ней, может, что и выйдет... Ты тут, конечно, ни в чем не виноват. Я где-то читал, что события ходят не в одиночку, а табунами. А вообще-то тут проявился закон рядности событий. Не осуществившиеся еще события как бы заранее расставлены в пространстве и во времени и только ждут первого толчка для воплощения. Они подобны спичечным коробкам, которые стоят на ребре на некотором расстоянии один от другого. Ты толкаешь один коробок — и, уже независимо от тебя, падает и второй, и третий, и десятый. Это волна рядности. Тем, что ты ущипнул Люсенду, ты вызвал волну рядности. Первично и случайно — щипок, вторично и неизбежно — выстрел, третично же — удар в нос...

— А четвертично — я тебя сейчас трахну по черепу, если ты не заткнешься! — заявил я Косте. Костя подо все норовил подвести теоретическую базу и часто выбирал для своих рассуждений самое неподходящее время и место.

\* \* \*

После занятий, когда все вышли из подъезда техникума, я нагнал Веранду.

— А где сестрица твоя? — спросил я.

— Она еще с отстающими по химии будет заниматься. А будто так уж она тебе сейчас нужна, — улыбнулась Веранда.

— И правда, не больно-то она мне нужна. Очень уж она обидчивая.

— Если б ты ущипнул ее персонально-индивидуально, то она, может быть, и не обиделась бы. А то ты назвал меня, а щипнул ее. А ты ей, между прочим, нравишься.

— Ну, ты какую-то сложную психологию разводишь, — возразил я. — С чего разревелась она?.. Просто ей власть в голову ударила. Подумаешь, староста группы!

— Ничего вы, ребята, не понимаете. Люська ж тоже человек. Она тут мне жаловалась, что с тех пор, как ее в старосты выбрали, к ней как к чиновнику какому-то относятся. То выполни, это про-



верь, а на нее ноль внимания. А ведь она на вид девочка симпатичная, не хуже меня, — засмеялась Веранда и толкнула меня плечом.

— Верно, ты девочка что надо, — согласился я. — Если б мы не были в одной группе, я бы в тебя, наверно, по уши втрескался. Но раз ты все время рядом торчишь — то неинтересно.

— Правда, — подхватила Веранда, — в своих влюбляться неинтересно. Мне лично один артист нравится, он в фильме «Дальний пост» играет. Там про будущую войну.

— Все артисты — пижоны. Если на самом деле начнется война, твой артист первым в тыл смоеется.

— И никуда он не смоеется! И никакой войны не будет, это в кино только. Финская только что кончилась — какая тебе еще война! Гитлер нас побоится. И вообще, не люблю я этих разговоров.

— Слушай, Веранда, черт с ним, с этим артистом и с этой войной. Ты вот что сделай: поговори с Люсендой, чтобы она обо мне вопрос на собрании не подымала. А то меня из техникума могут попереть.

— Ладно, я с ней потолкую, — согласилась добрая Веранда. — Но последнее время мы с ней не так уж крепко дружим. Она считает меня легкомысленной девицей, у нас вкусы расходятся.

— Вкусы расходятся, а платья и пальто одинаковые шьете, — подкусил я Веранду.

— Чудак ты, ведь это же дешевле получается, вот и шьем. А насчет тебя я с ней поговорю... А как Гришино здоровье? Лучше ему?

— Нет, не лучше. У него тяжелое ранение. Ему уколы все время делают.

## 2. Улицы

Я попрощался с Верандой, сел на трамвай и поехал на Васильевский остров. Но, выйдя из вагона, домой направился не сразу. В дни, когда случались какие-нибудь неприятности, я любил бродить по улицам — и мне становилось легче. Город был моим старым другом, и он все время чем-то потихоньку-полегоньку помогал мне. Он не вмешивался в мои печали — он молча брал их на себя. Я родился в нем, в одном из его домов, но на какой улице, в каком доме — это знал только он, потому что я был подкидышем и родителей не помнил и помнить не мог.

Мартовские сумерки тихо, слой за слоем ложились на Васильевский, и он зажигал свои вечерние огни. Еще недавно город был

затемнен, только в подъездах горели синие лампочки. Но недели две тому назад затемнение отменили. Город вырвался на свет, как поезд из длинного туннеля. Я шагал по улице и смотрел, как на темных стенах вспыхивают прямоугольники окон. Свет их уютен и праздничен. Казалось, все дома давно уже до краев полны этим теплым, уютным светом, но до поры он виден только тем, кто живет в этих домах. И вот теперь, в снежных сумерках, кто-то гигантским бесшумным штампом вырубает в темных стенах прямоугольники — и свет устремляется наружу. Вдали, где, казалось, нет ничего, кроме сумерек и серого неба, над снежными крышами возникла световая башня: несколько окон одно над другим и — сверху — круглое окошечко. Какой-то дворник-волшебник нажал на лестничный выключатель и за одно мгновение воздвиг эту башню.

Я вышел на людный Средний проспект и направился было в сторону Гавани, но потом свернул на линию Грустных Размышлений. В дни неудач и невзгод я любил пройтись по этой тихой улице. Конечно, официально она так не называлась, это я дал ей такое название. Дело в том, что на Васильевском почти все линии-улицы безымянные, у них только номера. А я никогда не любил чисел, цифр и номеров. Поэтому некоторым василеостровским линиям я дал свои названия. Пользовался я этими названиями в одиночку, для всех других людей на свете значения они не имели. Была у меня Пивная линия — там находилась одна уютная пивнушка, в которую мы с Костей, Гришкой и Володькой иногда заглядывали; была Многособачья улица — там почему-то всегда гуляли собаководы со своими псами; была Сардельская линия — там в магазине мы покупали сардельки; была Похоронная линия — по ней проходили похоронные процессии на Смоленское; была Интересная линия — однажды летом я увидел человека, который ехал по ней на велосипеде, надев на шею деревянное очко от унитаза, — багажника на велосипеде не имелось, и для велосипедиста это был единственный выход из положения; со стороны все выглядело очень интересно. Одну линию мне пришлось переименовать. Однажды я нашел на ней трешку и назвал Счастливой, но вскоре получилось так, что мы с Костей ввязались на этой улице в драку, и сила была не на нашей стороне; нам надавали батух. Пришлось переименовать линию эту из Счастливой в Мордобойную. А сейчас я шагал по линии Грустных Размышлений и размышлял о сегодняшних неприятностях.

С тихой линии Грустных Размышлений я свернул на проспект ЗНД — Замечательных Недоступных Девушек. Это был Большой

проспект ВО. Но для меня он был проспектом Замечательных Недоступных Девушек. По вечерам здесь было очень оживленно, происходило нечто вроде гулянья. Здесь можно было увидеть самых разных девушек, и все они в сумерках казались такими красивыми и симпатичными. Я знал, что некоторые ребята здесь даже знакомятся с девушками, но я мог только завидовать смелости этих ребят. Сам я был смел и развязан только с Верандой да еще с некоторыми девчонками, — но ведь то были обыкновенные девушки. А по проспекту ЗНД ходили девушки необыкновенные, неприступные.

С деловым видом шагал я по проспекту ЗНД и исподтишка поглядывал на них. Несмотря на мороз, они шли куда-то не спеша, — может быть, на танцы, может — на свидание, может — в кино. На меня они не обращали внимания — какое им дело до меня! У каждой из них своя жизнь: таинственная, праздничная. Кто меня впустит в эту жизнь! Они шли мне навстречу, взяв друг дружку под руки, тихо разговаривая о чем-то своем. Иногда они улыбались, слушая тихую речь подруги, иногда принимали озабоченный вид. Они проходили совсем близко — и все же были далеки, очень далеки от меня. И я молча шел среди них, очарованный и растерянный, — будто разведчик, сброшенный с Земли на неведомую счастливую планету и позабывший свое задание.

Но только не подумайте, что я был таким уж зеленым юнцом, — как-никак мне шел двадцать второй. Кое-какой опыт в таких делах у меня уже был, я в теории и на практике знал все, что надо знать. Но мне почему-то везло только с такими девушками, с которыми везло и другим. И не то чтобы эти немногие девушки, с которыми мне везло, были такими уж плохими, — нет!

Но мне казалось, что есть девушки гораздо лучше. И среди них есть где-то одна, которая лучше всех — самая лучшая, необыкновенная. Может быть, она сейчас идет в сумерках по городу. Может быть, когда-нибудь я ее встречу. Но, быть может, я не встречу ее никогда.

### 3. Наше жильё

С чем нам повезло — так это с жильем. Нам — это значит Гришке, Косте, Володьке и мне. Мы были из последнего выпуска детдома, потом он закрылся. Когда мы вчетвером пошли работать на фарфоровый завод, который шефствовал над нашим детдомом,

нам предоставили комнату в обыкновенной жактовской квартире, но мы жили в ней на льготных правах, как в заводском общежитии, и ничего за нее не платили. А когда мы поступили в техникум, то техникум взял над нами шефство, и наше жилье стало считаться филиалом его общежития. У нас была казенная мебель и казенное постельное белье, а жили мы будто дома, и никакого контроля, и никакого коменданта над нами не было.

Комната была большая — тридцатидвухметровая, светлая, с широким окном и с большим стенным шкафом. В шкафу было отделение без полок — туда мы вешали одежду, и было отделение с полками — там мы держали тарелки, ложки, хлеб, тетради, книги и всякое свое барахло. И все-таки несколько полок оставались пустыми — вот какой большой был шкаф. На белых его дверцах мы записывали разные изречения, услышанные от людей и вычитанные из книг. «Горе, разделенное с другом, — полгоря; радость, разделенная с другом, — двойная радость» — это было написано Гришкиным почерком. «Не бойся смерти. Пока ты жив — ее нет, а когда придет она — тебя не будет. Эпикур». Это я записал. И дальше тоже была моя запись: «Ужас — это непреодоленный страх. Не страшись обжечь пальцы и погасить искру страха. Не то разожжет она костер ужаса, и ты будешь вопить и корчиться в нем, и не будет тебе исхода». Ниже Гришкиной рукой было дано пояснение: «Страх — это двойка по спецтехнологии, не исправивший двойку лишается стипендии и впадает в состояние ужаса». Дальше шло изречение, которое мог записать только Костя: «Красота объекта раскрывается наиболее полно через его функциональную суть. Что рационально — то красиво, что нерационально — то уродливо».

Надписей было много, им уже не хватало места на наружной стороне дверец. На внутренней стороне Володькой был выписан из какой-то книги по археологии длинный кусок текста и обведен двойной рамкой. Но этот длинный текст звучал как стихи. Когда открывал шкаф, чтобы взять тарелку, или хлеб, или еще что-нибудь, глаза невольно упирались в эту запись, и я до сих пор помню ее наизусть:

...Истинно вам говорю: война — сестра печали, горька вода в колодцах ее. Враг вырастил мощных коней, колесницы его крепки, воины умеют убивать. Города падают перед ним, как шатры перед лицом бури. Говорю вам: кто пил и ел сегодня — завтра падет под стрелами. И зачавший не увидит родившегося, и смеявшийся утром възрыдает к ночи. Вот друг твой падает рядом, но не ты похо-

ронишь его. Вот брат твой упал, кровь его брызжет на ноги твои, но не ты увратишь раны его. Говорю вам: война — сестра печали, и многие из вас не вернутся под сень кровли своей. Но идите. Ибо кто, кроме вас, оградит землю эту...

В комнате имелся и умывальник — мойся сколько хочешь, на кухню к раковине бегать не надо. А в углу торчал старинный радиатор водяного отопления; он был зеленый, вертикальный и напоминал кактус. Правда, отопление в доме не действовало, но, кроме радиатора, в комнате имелась большая красивая печь, облицованная серыми кафельными плитками. Она была вполне исправна и могла бы давать много тепла, а что она его не давала, это уж не ее вина.

Несмотря на все свои достоинства, комната наша была со странностями. Излишне придирчивые люди, быть может, не захотели бы в ней жить. Дело в том, что до революции вся эта большая квартира принадлежала какому-то врачу, а эта самая комната представляла собой не то приемный покой, не то операционную. Поэтому пол в ней был не деревянный, а из метлахских плиток — белых и голубых, расположенных в шахматном порядке. Гришка с Володькой иногда даже играли на этом полу в шашки — доски не требовалось. Что касается стен, то они до самого потолка были облицованы холодно-белыми кафельными квадратами, как в бане или в культурной общественной уборной. Из-за такого оформления комната на первый взгляд казалась неудобной. Но мы к ней давно привыкли и ясно сознавали ее преимущества: пол мыть не надо, он и так всегда чистый, стены всегда чистые, клопы не заведутся, на обои тратиться не надо.

Когда я, вдоволь набродившись по линиям, вернулся домой, Костя полусидел-полулежал на своей постели и брэнчал на гитаре. Это было одним из его любимых занятий, хоть музыкальным слухом он и не обладал. Обычно гитара лежала у него под кроватью, не висела на стене, как у всех порядочных гитаристов, — гвозди в наши стены вбивать было не просто.

— Какие последние слухи из убежища Марии Магдалины? — спросил он и, не дожидаясь моего ответа, не в лад аккомпанируя, затянул куплет из «Гоп со смыком» с перевранными словами:

Мария Магдалина там живет, — да-да!  
Техникума нашего оплот, — да-да!  
Заведение открыла, райских девок напустила,  
С ангелов червончики гребет, — да-да!

— Ну, был у меня разговор с Верандой, — доложил я. — Может, она воздействует на Люсенду. Тогда, может, рассосется это дурацкое дело.

— Хорошо бы так, — ответил Костя, откладывая гитару. — Появляется просвет... И ты все это время с ней проразговаривал?

— Нет. Я еще прошелся немного по Васину острову. Один.

— Шлифовал асфальт на Большом? Рад, что кончилось затемнение? Глазел на девушек? — начал задавать Костя наводящие вопросы.

— Да, девушек там чертовски много ходит, — признался я. — Несмотря на мороз.

— Взял бы да и познакомился с какой-нибудь хорошей интеллигентной девушкой. Или даже с двумя.

— А ты что ж не знакомишься?

— Мои девушки, увы, на Большой в этот час не ходят. Они в это время нянчат чужих детей. Не та у меня рожа, чтобы знакомиться с интеллигентными девушками.

Действительно, в смысле внешности Косте не повезло. Парень сильный, стройный, но левый глаз — стеклянный и вся левая щека в синих точках-порошинках. За это его и прозвали Синявым. Давно, еще шкетом, Костя мастерил пистолеты-самопалы, и однажды самоделку разорвало. Он тогда был левшой, поэтому стрелял с левой и покалечил левый глаз. В наш детдом он прибыл с черной повязкой, а уж потом ему вставили искусственный глаз. Когда Костя смотрел на вас, у него был какой-то глупо-нахальный вид — это из-за того, что левое глазное яблоко не двигалось. Костя очень переживал этот свой недостаток. Он старался быть как все, он даже переучился на правшу. Он даже выучился играть на гитаре, чтобы блистать в женском обществе, но все равно блеска не получалось. Ему почему-то везло только с домработницами, — может быть, они были добрее всех других и жалели его.

Но в Костиной душе жила мечта о том, что его полюбит прекрасная интеллигентная девушка. Иногда такая девушка действительно появлялась на его горизонте. Тогда он влюблялся и начинал прозрачную жизнь. Прозрачная жизнь — это была новая, светлая жизнь, без ошибок, без выпивок, с новыми, ясными далями и горизонтами, с непрерывным развитием интеллекта и чтением научных, умных книг, с днем, расписанным по минутам, как движение поездов на большом железнодорожном узле, — одним словом, прозрачная жизнь. Однако каждый раз не то интеллигентная

девушка разочаровывалась в нем, не то он в ней, и Костя оставался при пиковом интересе. И он обрывал прозрачную жизнь и снова возвращался к домработницам.

У него был знакомый инвалид мировой войны, дядя Вася, который жил на Петроградской стороне в отдельной квартире, состоящей из одной комнаты, кухни и уборной. Этот дядя Вася охотно давал приют Косте и его временным подругам — дядя Вася работал ночным сторожем где-то на Елагином острове. Дяде Васе нравилось, что в его жилье бывают молодые женщины, хотя они приходят и не к нему. К нему женщины никогда не приходили, и он никогда не был женат — он не годился для этого дела. Его мобилизовали в 1915 году совсем молодым, и он сразу же был контужен. Его ударило взрывной волной от немецкого «чемодана» — крупнокалиберного снаряда. С тех пор он все время трясся, и лицо его все время перечеркивали гримасы, и говорил он нечетко. Я раза три бывал у дяди Васи — надо было помочь с электропроводкой; и каждый раз мне казалось, что вот сейчас дядя Вася успокоится и перестанет трястись. Как-то не верилось, что он всегда такой. Но он трясся уже больше двадцати лет и должен был трястись до конца жизни. Никакого лекарства против этого не было. Вот в жилище-то доброго дяди Васи и водил Костя своих подруг. А утром возвращался домой. «Ну, как прошла ночь любви к ближнему?» — насмешливо спрашивал его Володька. «Нет больше Пиренеев!» — кратко отвечал Костя, не вдаваясь ни в какие подробности. А в душе он мечтал об интеллигентной девушке и о прозрачной жизни.

И сейчас, желая его утешить, я сказал:

— Мы оба вполне могли бы познакомиться с симпатичными девушками там, на Большом. Нам бы только с тобой одеться пошкарнее. Пальтуганы у нас — так себе, а шкары — узковатые. Давно пора нам носить оксфорды.

Костя взял гитару, тронул струну и запел нарочно противным голосом:

Толя-фраер понравился Ниночке,  
В красоте он поставил рекорд:  
Полубокс, рантовые ботиночки  
И широкие брюки «Оксфорд».

Затем он сунул гитару под кровать и строго сказал:

— В будущем никакой одежды не будет. Ношение одежды развивает ложный стыд, а разнобой в одежде приводит к неравен-